

# Борис Васильев

## Победители

### Странная фамилия

#### 1

Вскоре после войны отец вышел в отставку и получил надел в генеральском дачном поселке неподалеку от Москвы. Наделом оказался гектар сплошного леса, в основном елового, но с добавкой матерых сосен. На участке не то что шалаш – ногу поставить было некуда, даже если вырубить начисто весь подлесок. Начинать приходилось с корчевки, а я еще служил далеко от Москвы. Одному отцу с учетом его последнего, четвертого по счету, фронтowego ранения это было явно не по силам. Я уповал на своих друзей, но они тоже работали и помочь отцу могли только по воскресным дням. Кое-что вырубил, огород вскопали, колодец вырыли, забором участок огородили.

И тут, на великое счастье, отцовские сослуживцы, оставшиеся после войны в Германии, прислали то ли немецкий, то ли американский мини-трактор с набором всяческих навесных приспособлений. Отец любил технику, быстро освоил этот подарок и приловчился корчевать лес в одиночку.

Пишу об этом потому лишь, что когда я наконец-то уволился из армии и вернулся в Москву, отцовский участок выглядел образцово. Стоял домишко с двумя огромными верандами, был посажен сад, вырыт пруд, вскопан огород, но значительный кусок леса так и остался нетронутым. Я в нем даже грибы собирал.

А вот напротив, через дорогу от отцовского участка, никаких дач не было, стоял дремучий лес, который местные власти держали про запас. Я любил в нем гулять. Искал грибы, собирал сухостой на дрова или какие-нибудь забавные коряги.

Я оказался на даче в тот день, когда неподалеку от наших ворот остановилась легковая машина местной администрации. Из нее вылезли два чиновника, приветственно помахавшие нам, и какая-то женщина. Я помогал отцу достраивать большую веранду, когда он сказал:

– Преподнеси даме хороший букет.

Я соорудил что-то вроде цветущего венка, отнес женщине, приехавшей вместе с местными чиновниками. Она мило улыбнулась, что-то сказала...

Что-то сказала... Эх, если бы я запомнил, что она тогда сказала...

Вскоре мне пришлось отправиться в командировку, затем оказались еще какие-то срочные дела, и я вновь навестил отца только через месяц. Он сообщил, что местная администрация в порядке исключения выделила участок какому-то Герою Советского Союза прямо напротив нас, через дорогу. Но этот герой что-то до сей поры не появлялся.

А на следующий день возле наших ворот затормозила «Волга». Из нее вышли моложавый, подтянутый и очень стройный подполковник в полной форме со всеми орденскими колодками, над которыми поблескивала Золотая Звезда Героя Советского Союза, следом – женщина, которой я месяц назад преподносил цветочный венок.

А отец был в щедро усеянной опилками ситцевой рубашке с закатанными по локоть рукавами, выгоревшей на солнце полотняной фуражке и в потертых унтах, поскольку у него постоянно ныли застуженные еще в Гражданскую войну ноги. Но, поправив фуражку, он тут же пошел навстречу уже входившему гостю. А гость при его приближении вскинул руку к козырьку и громко, по всей форме доложил:

– Разрешите представиться, товарищ генерал-лейтенант. Ваш новый сосед, Журфиксов Павел Петрович.

– Андреев Сергей Петрович, – отец протянул руку. – Очень рад и новому соседу, и новому знакомству. Алексей (это – ко мне), накрывай на стол.

– Если позволите, я с удовольствием помогу, – вызвалась спутница подполковника.

– Он – солдат, – улыбнулся отец. – Хотя и в звании инженер-капитана.

– Моя супруга Софья Георгиевна, – запоздало представил супругу Журфиксов.

Отец снял полотняную фуражку, подошел к Софье Георгиевне и, склонившись, вежливо поцеловал руку. Он когда-то был поручиком и целовать дамам ручки умел.

Пока я накрывал на стол на большой веранде, отец принимал гостей на веранде малой. Он любил гостей, умел с ними общаться, не навязывая собственного мнения, а уж о том, как он угощал даже нашей, весьма скудной закуской, можно себе только представить. Отец всегда оставался самим собою, что давало гостям возможность чувствовать себя свободно, и все складывалось как нельзя лучше.

За столом и разговор, естественно, шел застольный. Я в него не вслушивался, подавая и убирая тарелки, но кое-что все же вклинилось в мою память.

– ...войну, с моей точки зрения, выиграл сержантский состав. Я пришел на фронт семнадцатилетним деревенским парнишкой, и если бы они меня не научили солдатской науке выживать, я бы... Ну, не знаю, может, как-то и уцелел бы... Мечтаю об этом записки написать, когда в отставку выйду...

Это говорил подполковник Журфиксов. И с той поры мы больше его никогда не видели. Отец специально узнавал в поселковом Совете, что участок именно ему был выделен, но ни он, ни его жена больше у нас не появлялись.

Правда, вскоре подполковник своего адъютанта прислал. С запиской, что его часть срочно передислоцируют.

Много прошло времени, но от Журфиксова не было ни слуху ни духу. Прошла борьба с космополитами, с врачами-отравителями, еще с кем-то или с чем-то. Так уж мы созданы, что без борьбы существовать не умеем. Борьба эта в могилу моего отца свела, потому что он уж слишком негодовал по поводу «отравителей в белых халатах», именуя это не иначе, как провокацией. Потом Сталин помер, кукурузу всей страной весело сажали. Я уж и сам до подполковника дослужился, начал писать повести и рассказы, которые издательства печатали с удовольствием. И тут чеченская война началась. Я на какую-то, помню, конференцию попал, и на ней вдруг прозвучала колючая фамилия. Журфиксов...

## 2

– Журфиксов...

Эта фамилия прошелестела в воздухе. Никто вроде бы ее не произносил, не было не то что шепота – воздух не вздрогнул. Но сказано это было для меня, для моих ушей. И я не услышал, я – уловил.

А кругом сидели плечистые ребята в одинаковых спортивных костюмах, с одинаково бесстрастными лицами и отсутствующим выражением глаз.

Но – по порядку. Меня пригласили на встречу в некий закрытый дом отдыха. Побывавшие на заданиях парни (пресса любит употреблять выражение «в горячих точках») приходили здесь в форму, отдыхали не только телом, но и душой, и я был приглашен как раз для роздыха их душ. Со мною созвонились, я дал согласие, и меня провезли сквозь все «кирпичи» и милицейские посты в тишину и покой старого, чудом уцелевшего подмосковного бора.

Встреча состоялась в небольшом кинозале. Я рассказывал о своей работе, о новостях в кино и театрах, смешил добродушную публику актерскими анекдотами, отвечал на многочисленные вопросы. Потом гостеприимные хозяева пригласили меня немного «расслабиться и отужинать».

Стол ломился от закусок, водка текла рекой, но я помалкивал, понимая, что в профессионально любознательном обществе неуместно личное любопытство. Однако после

определенного количества добрых тостов утратил опасливый контроль и с максимальной наивностью спросил на весь стол:

– По Москве бродят слухи, будто какой-то удивительный снайпер в Чечне объявился. Бьет в полтинник чуть ли не с трехсот метров...

Обычный пиршественный гул мгновенно стих. Даже ножи с вилками перестали стучать по тарелкам. А сидевший рядом со мной командир этих спецов благожелательно улыбнулся:

– Слухи – они и есть слухи. Попробуйте балычок.

– Благодарю вас.

Я попробовал и примолк. Стол опять зажурчал дружескими разговорами, даже кое-где смешки появились. А спустя некоторое время до меня явственно донеслось:

– Журфиксов...

Я никак не отреагировал. Наоборот, попросил право на тост, встал, сказал что-то смешное из обычного застольного репертуара. Все рассмеялись, возникшее после моего бестактного вопроса напряжение исчезло, стол дружелюбно зашумел. И я шумел, смеялся, что-то кому-то отвечал, а в голове вертелось: «Журфиксов»... Очень редкая фамилия. Она словно вонзилась в меня, потому что я ее знал. Знал, и ошибки здесь быть не могло.

Повторяю, фамилия уж очень редкая. И необычная, в память врезается. Как осколок.

### 3

А вскоре я увидел ее напечатанной на толстом конверте бандероли без обратного адреса. В бандероли оказались записки подполковника Журфиксова с припиской в несколько строк женской рукой:

*« Если вы тот самый юноша, который когда-то преподнес мне букет, а теперь стал известным писателем, то я не ошиблась. Муж просил именно вам отправить его дневник. Выполняю его последнюю волю.*

*Софья Журфиксова » .*

Это был странный дневник. Он, не предназначенный для посторонних глаз, был написан совершенно произвольно. В нем, к примеру, естественное авторское отношение к событиям весьма часто заменялось взглядом со стороны, когда автор вдруг выступал от третьего лица, называя себя то Журфиксовым, то лейтенантом, то командиром батальона, а потом неожиданно вновь переходил к личному местоимению «я». Это была какая-то внежанровая помесь дневника с повестью, и предварялась она личной запиской партийному собранию:

*« Служебная записка.*

*Докладываю, что моя фамилия « Журфиксов » не придумана мною для сокрытия настоящей фамилии, а является таковой. Так велели прозываться жителям половины деревни Пронькино Рязанской губернии самодуры-помещики » .*

И – подпись. А дальше начиналось то, что он назвал «Дневником». Но я переименую это его название в соответствии с содержанием и разобью на две части.

Итак...

## Отец

### 1

«Я родился в рубашке, как на Руси говорили. Не только потому, что в войне уцелел, хотя и там тоже, но в основном – потом. Рубашка моя потом сказалась.

Родился я в двадцать восьмом году, а год себе приписал, потому что в училища брали

только с восемнадцати. А я в семнадцать школу закончил – у нас в селе своя школа была, село большое – и решил во что бы то ни стало успеть повоевать. Ну, прямо позарез мне тогда война эта потребовалась. Подумал, подумал, да и пошел к председателю нашего колхоза. Он двоих сынов потерял, и я считал, что мое желание он оценит. Тем более что родственниками мы были, хоть и дальними, ну а на селе даже дальний родственник ближе близкого соседа.

Показал я ему аттестат и медаль, которую получил за окончание школы. Он молча все осмотрел, кивнул головой. Не до разговоров ему тогда было.

– Мне справка нужна, дядя Семен.

– Какая справка?

– Что я метрику утерю.

– Тогда штраф с тебя, а не справка.

– А я ее и не терял, – сказал я и достал ту самую метрику, то бишь свидетельство о рождении. – Только здесь указано, что я родился в двадцать восьмом году, а ты выдай мне справку, что в двадцать шестом.

– С обману жизнь начинаешь?

– В пехотное училище без такого обману не попадешь, дядя Семен. А я на войну должен поспеть.

Он молчал и вертел бумажные корочки. Даже не открывал их: просто вертел. То ли думал, то ли сынов своих вспоминал. А руки дрожали. И я устался в стол от этих рук и сказал:

– Мне за двоюродных братанов посчитаться надо. Доверь, дядя Семен. Очень, очень прошу тебя.

Он помолчал, потом достал тетрадную четвертинку в клеточку, ткнул 86-м пером в чернильницу и написал, что года я 26-го, а свидетельство о рождении у меня украли. Встал, обошел канцелярский свой стол, подал справку. А потом вдруг обнял меня и заплакал.

Меня без вопросов приняли в пехотное училище по липовой справке об утере документов. Экзамены я сдал первым номером, как когда-то говорили в России, да и экзамены пустяшные – диктант да две задачки по геометрии. Убыль была среди пехотных офицеров такая, что на все приходилось глаза закрывать. Это, конечно, сказалось, но – потом, позже, а тогда выхода не было.

И в училище я шел первым, а потому получил право выбора фронта – была такая форма поощрения. И я попросился к Рокоссовскому, потому что и сейчас считаю его лучшим нашим полководцем. Однако у нас не по делам судят, а по биографии, а единственный в мире дважды маршал и тюремной баланды похлебал, и кайлом помахал, да еще польский шляхтич к тому же. Но это – примечание к сути. Мне повезло, что я к нему попал, очень повезло. Это ступенькой к моему великому счастью оказалось, но ничего, конечно, я об этом тогда не знал и думать не думал, и мечтать не мечтал.

Прибыл я на фронт в первых числах марта сорок пятого на должность командира взвода автоматчиков. Правда, тогда от взвода оставалось что-то около дюжины, но бойцы были обстрелянными. А уж сержанты – их трое в той дюжине уцелело – в полных солдатских иконостахах. А у меня даже пушок над верхней губой до сих пор не прорисовался, к большой моей досаде. Ну, потому и встретили меня соответственно:

– Ты, младшой, в окопе сидеть будешь. Сидеть и не высовываться, пока усы не отрастут.

Кто знает, может, так бы оно и случилось, так бы и просидел бы я всю свою войну в блиндаже под опекой насмешливых сержантов. Кто знает, в какой момент решаются наши судьбы?.. И, главное, кто их решает...

– Я тут до тебя твою должность исполнял, – сказал старший сержант. – Завтра я тебе все сдам, но сегодня вечером ты – наш гость. Валеркой меня зовут.

– Меня – Павлом.

– Ты не подумай, это – никакое не панибратство. Это такая необходимость в конкретных условиях. Ну не станешь же кричать в бою: «Товарищ гвардии младший лейтенант, танки слева!..» Пока титул проорешь, тебя дважды гусеницы перепашут. Так что ты не обижайся.

Специфика.

Меня усадили на почетное место в сухой и теплой взводной землянке, и Валерий представлял мне по очереди всю уцелевшую дюжину с кусочком – всех моих четырнадцать подчиненных. Трех сержантов да одиннадцать солдат.

– Андрей, Иван, Ахмет...

– А почему три сержанта на полувзвод?

Спросил я исключительно из-за сладкого ощущения звездочки на погонах. Первая звездочка, не важно какая – первая маленькая, первая большая или первая генеральская, – всегда очень уж на тщеславие давит, пока не обносится. Потом все у меня внутри обносилось, и я больше подобных идиотских вопросов на дружеских пьянках не задавал.

– Ну я же твою должность исполнял, – усмехнулся Валерий. – Минус я – и все пребывает в норме. Как там насчет этого в уставе говорится?

Примолк я. И только глупость сморозив, понял, для чего Валерка весь полувзвод собрал. Чтобы мне фронттовую науку преподать. Не тактику, не связь, не уставы, а ту, что солдатскую жизнь в окопах способна уберечь.

– Запалы к гранатам получил? – спрашивал меня угрюмый ефрейтор с двумя золотыми нашивками на мятой гимнастерке. – Получил, знаю, всем дают. А куда заховал?

– Тут, – я похлопал по нагрудному карману.

– Ну а если осколок или, не дай бог, пуля? Они же сдетонируют, и – полный привет. Их на заднице носить надо, там если и вырвет кусок, то сам живой останешься. Держи мой кисетик. Запалы – в него, и – только на заднице.

– Спасибо...

– Ладно. Пункт два. При отражении атаки вставь все запалы и положи гранаты в окопную нишу. Снаряжать их некогда будет, а у тебя – под рукой. А коли сам идешь в атаку, то не снаряжай, сам же и подорваться можешь. А коли надо гранатами, то упали и снаряжай их лежа. И все снаряженные обязательно бросай. Не экономь, в атаке все может случиться.

– Спасибо.

– Ладно. Переходим к пункту номер три. В атаке никогда до последнего патрона автоматный диск не достреливай. В диске при последних патронах – ну, там, семь-десять – скрежет появляется. Ты его быстренько слышать научишься. Как услышишь, сразу палец с гашетки снимай. Это твое НЗ, чтоб с немцем в рукопашную не пришлось сходитьсь.

– А что?

– А то, что его с детства не одной картошечкой с капусткой кормили.

А в другое ухо мне Ахмет журчал:

– Хлебец, который про запас, – в чистую тряпицу, обязательно волглую. А тряпицу обернешь травой. Лучше всего лопух подходит, но коли нет его, и другая сгодится. Только появляй травку сначала. А то свежая, она всю хлебную душу на себя вытянет.

Ну, потом выпили, хлебцем закусили, шумок пошел. И под этот шумок ко мне Валерий подсел.

– Ты о третьем сержанте спрашивал, который нам не по уставу. Так из госпиталя он, миной контуженный. Три дня как к нам вернулся. Он немца голыми руками в рукопашной задушил и малость сдвинулся.

– Как – сдвинулся?

– Смерти ищет. Пропал в нем страх. А мужик – что надо, я с ним три месяца на передовой бок о бок. В одной нише спали, одна шинелька – под нами, другую – на двоих сверху. Пропадет он в другой роте. Под пулю подставится.

А под конец Валера сказал тост. До сей поры его помню слово в слово.

– Желаю тебе, Паша, командир наш, чтобы ты ни одного немца в рукопашной не убил. Пуля – дура, за нее ты не в ответе, а когда глаза в глаза – тут совесть твоя такую контузию получает, какой тебе по гроб жизни хватит да еще и на внуков останется. Поэтому очень прошу тебя, командир, за нами в атаку идти. Мы тут уже все этим переконтуженные, одним фрицем больше, одним меньше – роли для нас не играет. А ты себя сберечь должен на

последнем нашем победном пути.

Хорошие он сказал слова, правильные очень, да только кто же своей судьбой на фронте распоряжается? Да кто угодно распоряжается, только не солдаты.

Моя судьба решилась на следующий день, я со своим взводом толком и познакомиться-то еще не успел. Совсем в других обстоятельствах знакомиться пришлось, только не с кем потом знакомиться оказалось.

Уже на следующий день меня вызывает вдруг сам командир полка. К нему меня вез на «виллисе» лично наш комбат, и всю дорогу искренне удивлялся:

– По благу, что ли, в конце войны пристроили? Ну, не темни, все бывает.

– Да я его и в глаза не видал, – говорю. – Сам только что во взвод появился.

Командир полка – в годах уже, как и положено – встретил меня вздохом.

– Когда прибыл?

– Вчера, товарищ полковник!

– Ну, стало быть, судьба. Командующий замыслил операцию, но тебе до нее никакого дела... Твоя задача... Ты в картах-то разбираешься?

– Так точно, товарищ полковник!

– Не ори, – и карту развернул: – Видишь дефиле?.. Ну, проход, лощинка меж холмами! Здесь – дорога. Местная, булыжная, узкая и кривая, а мостик – вот он, видишь? – разве что легкий танк удержит. Но ты его все же на всякий случай рвани, я тебе саперов придам. Все понял?

– Мост взорвать?

– Немцев не пустить, чтобы они нам во фланг не вышли! Займешь высоту триста восемнадцать и семь и будешь держать. Крепко держать!

– У меня во взводе...

– Знаю. Укомплектуем, усилим, я тебе лучших мастеров своих отдам. Один из них – снайпер-бронбойщик, то ли якут, то ли казах. Парень – золото. И дело свое знает. А твое дело – четыре часа нам выиграть.

Потоптался, повздыхал. Сказал вдруг тихо:

– На войне у каждого – своя доля. Но я очень, очень тебя прошу, сынок. Очень. И командующий просит. Четыре часа всего, пол рабочего дня. Сделаешь, сынок?

Как он меня просил, так я ему и ответил:

– Сделаю, Батя.

Обнял он меня, всхлипнул даже. Или так мне тогда показалось? Наверно, показалось, потому что я собственный всхлип с трудом в груди сдерживал.

Быстро все завертелось настолько, что к утру мы уже окапывались на высоте триста восемнадцать и семь, а двое саперов мост минировали. Только ничего у них не получилось, торопились, что ли?.. Рвануть рванули, да мостик только похилился и стоит, как стоял. А противник – вот он, глазами видно.

До сей поры мне тот, первый мой бой снится. То ли потому, что первый, то ли потому, что второго такого не видал, а случись он, так, пожалуй, и не выдержал бы.

Из всего того боя только минут двадцать помню, от силы – полчаса. Все слилось в сплошной грохот, рев моторов, треск автоматных да пулеметных очередей. Так что и огня не повидав, я сразу в полымя окунулся.

Из-за высотки перед речкой на нас выдвинулись три «пантеры». Они шли клином, с немецкой точностью выдерживая интервалы и равнение. Еще ничего за ними и не показалось, как Валерка шепнул мне:

– Замереть так, будто уж на том свете.

И пополз к снайперу-бронбойщику. Я солдат уложил на дно окопчиков, которые мы отрыть успели, а сам в пулеметную ячейку перебрался. Оттуда и за боем следить было удобно, и Валерку с этим мастером-бронбойщиком слышал.

– По гляделкам им бей. Сможешь?

– Заблестят, так смогу. Солнце-то нам хорошо в спину светит почему-то.

– Триплекс от удара мутнеет. Точно влепишь, водитель сразу из люка высунется. Под мою пулю.

Вот как замерли, лишившись водителей, две «пантеры», я еще помнил. А потом немцы открыли по нашим щелям такой огонь, что всю память мне отшибло.

Держали мы ту высотку четыре часа пятнадцать минут, пока помощь не подошла. В живых нас двое осталось – я да старший сержант, фамилию которого я так и не успел спросить. Все – Валерка да Валерка...

Кто нам на подмогу пришел, как они выглядели и как мы выглядели – ничего не помню. Уцелевших – это, стало быть, меня с Валеркой – в медсанбат отправили, я проспал там часов четырнадцать, не меньше, и – целехонький! – в свою часть прибыл. Мол, ваше приказание выполнено.

Корреспонденты понаехали: «В конце войны повторен подвиг двадцати восьми панфиловцев под Москвой!». Нас, правда, ровнехонько двадцать два было...

Героев нам дали, сержанту и мне. Только Валерка в медсанбате умер, так до госпиталя и не добравшись...

## 2

Потом были бои, но я их как-то... осознавал, что ли. Ужас исчез, а страх появился. Нормальный человеческий страх, что ты можешь погибнуть. Ужас – чувство обессиливающее, животное чувство, от него нельзя избавиться, им только переболеть можно. И тогда на его место приходит страх. Нормальный спасительный страх.

Да еще берегли меня, прямо скажем. Командир полка, Батя наш, в открытую мне заявил: – Ты у меня, сынок, непременно Победу встретишь, только сам под пули не суйся.

Но я уже говорил, что во мне спасительный на фронте расчетливый страх появился. То самое чувство опасности, которое фронтовым опытом именуется.

Шли мы тогда уже последним маршем. Фашистская Германия издыхала, умные немецкие вояки это отлично понимали и – не рыпались. Не за что было уже рыпаться.

И однажды повстречался нам на победном нашем пути небольшой немецкий городок, который мне приказано было взять, я к тому времени уже исполнял обязанности командира батальона. А в тот день мне как раз восемнадцать лет исполнилось, не по документам, разумеется, а по правде. И я об этом сказал командиру полка Фролову Петру Лукьяновичу. У нас с ним отличные отношения сложились, и я его – наедине, разумеется, с глазу на глаз – Батей называл, а он меня – Сынком.

– Знаю, – говорит. – Это тебе от полка подарок. Сверли очередную дырку в гимнастерке.

А я ему:

– Дыркой, Батя, погибших не прикроешь.

– Я тебе, Сынок, такой огневой кулак придам, что ты ни одного солдата не потеряешь.

И придают мне две артиллерийские батареи из дивизионного резерва да роту «тридцать четверок», усиленную двумя самоходками. Спрятал я весь этот кулак в лощинке подальше от немецких глаз, а сам выдвинулся, чтобы городишко как следует разглядеть. Мне разведчики стереотрубу поставили под кустом на высотке, откуда все просматривалось. Глянул я – и глазам собственным не поверил.

Открылся мне тихий, весь в апрельской, еще рябенькой зелени, аккуратненький, как пряник, немецкий городок. За всю войну ни одна бомба – ни наша, ни союзников – на него не упала. А это значило, что нет там никаких оборонных предприятий.

И я его должен был разрушить?.. За очередную дырку в гимнастерке?.. Нет, думаю, Батя (это, естественно, о командире полка), мне такой подарок не с руки, ты уж не серчай, пожалуйста. Война не сегодня, так завтра наверняка кончится, зачем же счастье этих вот, конкретных, передо мною открывшихся немцев снарядами разметывать? Уцелели, и слава богу. Значит, судьба у них такая. И пусть себе в покое живут.

И посылаю парламентаря. Да не с требованием тут же сдать город, пока я его снарядами

не разнес, а с просьбой к бургомистру прийти на личные переговоры со мной.

И торжество какое-то в душе появилось, когда я это решение принял. Вот, думаю, мне подарок к совершеннолетию. О таком подарке не совестно и внукам рассказать.

Вылез парламентар, замахал белым флагом, и все мое торжество тотчас же куда-то внутрь души юркнуло. Убьют его сейчас, такое бывало, что и по парламентарам стреляли, звереет человек на войне. Но никто не стрелял, зато, правда, никто в ответ белой тряпкой так и не помахал. Парламентар на меня глянул – молоденький такой студентик, в очках, он моим переводчиком был – мол, делать-то что? А я всю волю свою собрал и говорю:

– Иди, Игорек. Спокойно иди, с достоинством.

И пошел мой Игорек. Хорошо пошел, даже плечи свои неказистые развернул, сколько мог. Я в окуляры впился, аж слеза прошибла, но все – по-прежнему. Игорек мой шагает с белым флагом, плечи вздернув, а немцев нигде не видать. Так до роши, что по границе города проходила, дошел, остановился, на меня оглянулся, махнул рукой и вошел в рощицу с апрельской листвой. И пропал с моих глаз.

У меня сердце екнуло. Подумалось, что сейчас схватит его немецкий секрет и начнет данные вышибать. Где мы, сколько нас, какая задача – это меня не пугало. Меня то пугало, что парня этого несчастного сквозь кулачную мельницу пропускать начнут в самом конце войны, и...

А тут лейтенант, командир первой роты подобрался ко мне и говорит:

– Слушай, старшой, давай влечим им, пока студентика не искалечили.

Вот не выскажи он этого опасения, я бы по-другому поступил. Ну, разведгруппу послал или еще что. Но комроты один сказал то, что мне самому в голову пришло. А такая одновременность на фронте всегда настораживает. Если не тебя одного та же мысль посетила, значит, она в воздухе плавает, самая близкая и простая, а следовательно, лежит на поверхности, как на блюдечке. И коли так, то с нею надо поосторожнее.

– Ждем, – сказал. – И чтоб не дернулся никто раньше времени. Тишина и спокойствие – вот наше «здразьте» на сегодняшней бой. Понял?

Не знаю, понял ли меня комроты, а только сказал: «Ага» и за бугорок скатился.

Он-то скатился, а я-то остался со своими опасливыми думами. Да, не следует с блюдечка во фронтовой обстановке слизывать – это с одной стороны. А с другой стороны – что же там с моим парламентаром?

Полчаса маялся в полной неизвестности. Уж так меня стало изнутри трясти, что я вестового за водкой послал. Полстакана глотнул, от окуляров оторвавшись, вновь к ним приник и...

Затрепыхались апрельские кусты, и из рощицы вышел самый что ни на есть гражданский немец в шляпе, а за ним – мой Игорек с белым флагом и... и какая-то девица. Оступается от хрупкости, но изо всех сил старается не отставать от мужчин.

Ну, я за бугор нырнул, кое-как гимнастерку оправил, почистился и даже причесался. Тут уже у нас шум поднялся («Немчура чуру просит!..»), но я велел всем помалкивать, а с собою взял только начальника разведки. Он немцев куда лучше меня знал, понимал по-немецки и мог мне помочь в переговорах.

А фуражка у меня была блин блином. А тут – девица – в мой день рождения! Ну, я у какого-то лейтенанта фуражечку поновее позаимствовал, а она оказалась великовата, и в дальнейших переговорах я только тем и занимался, что снимал ее с ушей и вновь водворял на голову.

– Бургомистр, – представил гражданского в шляпе Игорь. – А это – его переводчица Софья Георгиевна.

Переводчица Софья Георгиевна была от силы моей ровесницей, если не младше. И я страшно разозлился. Какая-то девчонка, смотрит в упор и глаз почему-то не прячет, а у меня – фуражка на ушах. Ну, сами посудите...

– Значит, на немцев работаешь? – спрашиваю, уже сильно при этом закипаю.

– Почему – «на немцев»? Просто – с немцами.



– Знаешь, как это называется? Это называется – измена Родине. Вот как это называется!

А она – этак с улыбочкой:

– Какой родине?

Рассвирепел я, набрал полную грудь воздуха:

– Союзу Советских Социалистических Республик! Вот, между прочим, какой!..

– Я – гражданка другой республики, господин старший лейтенант.

– Какой же, интересно знать?

– Республики Франции. Вашего, между прочим, союзника, господин старший лейтенант.

Вот так и препираемся. Я – с перекошенным ртом и фуражкой на ушах, а она – с улыбкой, которую я в тот момент ненавидел лютеее лютого. А все присутствующие молчат, поскольку я – самый тут главный и с темной своей злости могу разнести весь этот город. Мне, между прочим, в подарок преподнесенный. Как торт. И неизвестно, сколько времени мы бы так еще разговаривали, если бы Игорек не кашлянул вовремя.

И я сразу замолчал. А помолчав, спросил:

– Чего тебе?

– Бургомистр пришел. По вашему приказанию, товарищ старший лейтенант.

– Сколько там фрицев?

Игорь не успел ответить. Уголком глаза я заметил, что девица эта французская намеревается переводить наш разговор бургомистру. И заорал:

– Не смей переводить!

– Ву зэт трэ жанти, – она улыбнулась.

Я не понял, что она сказала, но вдруг почему-то улыбнулся тоже. Точнее сказать, осклабился, а не улыбнулся, но переводить она все же перестала.

– Да не больше роты, – тихо сказал Игорь. – Похоже, что нестроевые или раненые.

– А зачем бургомистр пришел?

– Так вы же просили.

– Ах, да... – Совсем я с этой французско-русской девицей голову потерял. – Предлагаю вам, господин бургомистр, тихо и мирно сдать город совершенно без всяких осложнений. Мирная сдача обеспечит его здоровье...

Какое, к черту, здоровье у города?.. Это опять – ее голос. Она застрекотала на фашистском языке, как только я заговорил. Тут бургомистр что-то у нее спросил, а Игорь и перевести не успел, как эта полуфранцуженка спрашивает:

– Господин офицер под здоровьем города понимает, конечно же, здоровье его жителей?

– Естественно, жителей, – говорю. – Не домов...

– Тогда у господина бургомистра есть вполне естественная просьба, господин старший лейтенант.

– Для этого, – говорю, – и позвал.

– Не вводите в его город войска.

– А... Да кто кого победил? Мы их или они – нас?

– Вы, – отчеканила, чтоб я не сомневался. – Только не жителей, а фашистскую Германию. Надеюсь, этот город вы не будете завоевывать?

– А солдат я в поле размещать буду, так, что ли, получается? В землянках?

– Не кричите. В казармах, на окраине. Там с утра все женщины полы моют и шторы развешивают. А мужчины таскают из своих домов мебель поудобнее и дрова для каминов.

– Каминов?! – Помню, я тогда очень рассердился. – Да мы же в окопах! В окопах! В земле, как черви!.. Четыре года в земле!.. Вот прикажу все камины разворотить к чертовой матери!..

И замолчал, потому что она смотрела на меня в упор, и в глазах ее я увидел сожаление. Даже – с горчинкой, что ли. И понял, что она жалеет меня. И очень уж растерянно и глупо спросил:

– Что?..

– Немцы у каминов греются. Дети, женщины, старики. У них же печек нет.

– А Ленинград у них был? Был? Когда холод и голод, когда трупы в каждой квартире, когда полная блокада и расстрел города?.. Если ты к жалости моей обращаешься, то нет у меня к ним никакой жалости. Никакой!..

– Я не к жалости, я к великодушию вашему обращаюсь. У вас – Золотая Звезда на груди, значит, вы – воин, а не палач. И я обращаюсь к великодушию русского воина.

И я сразу замолчал. А она вдруг положила мне руку на плечо и тихо сказала:

– У меня день рождения сегодня. Сделайте мне подарок, не вводите солдат в город.

У меня – день рождения, и у нее – день рождения. Мне ради подарка город предложили разрушить, а она ради подарка просит солдат в город не вводить. В немецкий город. Чужой.

Чепуха какая-то, да? Будто нарочно придуманная.

И я сделал ей этот подарок. В день, когда ей семнадцать исполнилось. А мне – восемнадцать.

### 3

В свои семнадцать лет Соня вместила столько горя, бед и неприятностей, сколько мало кому достается и в пятьдесят. Родившись в Париже, в семье эмигрантов, вынужденных таскать на спине рекламные щиты да продавать газеты в розницу, она выросла скорее на улице, чем дома. Но с нею занимались, ее учили всему, чему учили профессорских дочек в России, дома говорили только по-русски и – через силу, не обращая внимания на страшную усталость после суеты случайно выпавшей работы, – обязательно читали добрую русскую классику.

В семье существовал культ России – той, далекой, как детская мечта, – навсегда утерянной родины. И без колебаний ушли в Соппротивление, когда фашистская Германия захватила Францию. А Соня организовала своих гаврошей и с их помощью расклеивала на парижских улицах антифашистские листовки.

Девушку схватили довольно быстро, но ей повезло. Учтывая несовершеннолетие, ее не сунули в застенки, а отправили в Германию, работать на заводе. И определили к конвейеру.

Никто и подумать не мог, что эта синеглазая золотистоволосая блондинка родилась в еврейской семье, хоть и окончательно обрусевшей. А ей повезло еще раз. Супруга директора, выяснив, что одна из работниц свободно владеет французским и немецким, взяла Соню в прислуги, а убедившись в ее умении великолепно обращаться с детьми (в семье росли две девочки-погодки), фактически определила бонной.

Немцы строго блюли грань между господами и прислугой, и даже бонну не пускали дальше детской и спален девочек. Но Соня ежедневно гуляла с воспитанницами в саду, у нее было свободное время, когда дети спали, и она даже могла читать немецкую классику.

Вскоре это закончилось. Англичане и американцы начали бомбить немецкие города, и фрау, по совету мужа, отправила девочек с бонной и личным охранником в тихий уютный городок. Тот самый, который мне приказано было взять в качестве личного подарка к восемнадцатому дню рождения.

Жители этого не бомбленного городишка и вправду для нас постарались. Казармы были вычищены с немецкой старательностью, мебель для комнат отдыха и офицерского зала вполне отвечала законам гостеприимства, на кухне трудились трое профессиональных поваров. И вся обслуга была мужской, но это уже – моя установка сработала. Война есть война, а солдат есть солдат, и я потребовал это учесть.

Отослал я приданных мне танкистов с артиллеристами, расселил своих бойцов в немыслимых во фронтовых условиях удобствах и только переночевал – приказ с рассыльным. И в конце войны приказ в одно слово укладывался: «Вперед!».

Хотелось мне в этом оазисе мира пожить, но – война. А в войну человек хочет, а начальник приказывает. Отдал я все распоряжения, какие от меня требовались, и поехал на «виллисе» к господину бургомистру. Сказать, что мне выступать приказано, а заодно и поблагодарить его за гостеприимство.

Соображение у меня такое возникло. А соображения юности чаще всего – дымовая завеса, которой незатейливая душа прикрывает истинные желания. Она их стесняется весьма даже целомудренно и выдумывает черт знает какие причины, чтобы только никто не догадался, чего это исполняющего обязанности командира батальона потянуло во что бы то ни стало попрощаться именно с бургомистром, и ни с кем иным.

А у бургомистра была переводчица. Так что и с нею пришлось попрощаться. И переводчица Соня вышла проводить юного Героя Советского Союза. Все-таки хоть и распускал апрель клейкие листочки, а проклятые наци все еще стреляли. И Соне очень хотелось выйти на крыльцо и помахать на прощанье старшему лейтенанту, с которым вчера столкнулась первый раз.

Они вышли, и старший лейтенант пошел по чистенькому немецкому тротуарчику, а «виллис» ехал позади на приличном расстоянии. А Соня шла рядом.

Так они дошли до первого угла. Старший лейтенант был сурово нахмурен и молчалив. Соня молчала тоже, и поэтому им пришлось завернуть за второй угол. А «виллис» по-прежнему скромно катил позади.

Вот за вторым поворотом старший лейтенант остановился. Вздыхнул и сказал:

– Тебе лучше с нами уехать.

И опять зашагал по тротуару.

– Почему – лучше?

– Тут неразбериха начнется. После Победы. А мы тебя во Францию переправим.

– Или – на Колыму.

И опять остановился ее спутник. К ней повернулся и еще непримиримее взъерошился:

– Пропаганды наслушалась?!

– А у меня – дети.

– Какие дети? Какие?..

– Те, которым жить страшно.

– Фашистских подобрала?

– Дети фашистскими не бывают. Дети – это дети. Белые, черные, рыжие. Да хоть в полосочку.

Повернулась и ушла.

Прибыл я в часть. Тут – последние бои, ребята со смехом в них идут, а у меня на душе какая-то клякса образовалась. Я в бой не то что со смехом – с полным безразличием шел, будто не только фронтовой опыт растерял, но и природную свою интуицию. Болван болваном с автоматом наперевес. Топал, будто кем-то специально заряженный.

Ну и добился своего тайного желания: ранило меня в мякоть. Рана пустяковая, с такой в тяжкие наши времена и в медсанбат не отправляли. Перевяжет санитар, и ты – опять: «Ура, ребята!..» Но в конце войны командиры берегли своих обстрелянных, которые лиха до третьего колена нахлебались.

Два дня я в медсанбате околачивался, а на третий сбежал. И прибыл напрямик к командиру полка.

– Батя, уважь мою просьбу. Дозволь долечиться в том городишке, который ты мне на именины подарил. Люди там хорошие, добро помнят. И, это... Природа.

Усмехнулся Батя:

– Глазастая?

А я покраснел до жара. Ну прямо как мальчишка, алым знаменем весь залился. Ей-богу.

– Пару автоматчиков тебе выделю.

– Зачем мне автоматчики? Городок мирный.

– Мирный. Пока отцы с мужьями прятаться туда не вернулись. С автоматчиками – не возражаю. И отпуск на десять дней подпишу для восстановления здоровья.

Ох, с какой же радостью я «спасибо» ему тогда сказал!..

Конечно, никакой отпуск он мне подписать не мог, но санбат имел право отправить меня подлечиться в только что открытый госпиталь для выздоравливающих офицеров. Об этом ходили разговоры, я их наслушался, почему и помчался к Бате.

А он – согласен, дескать, Сынок, но – с оговорочкой. И оговорочка эта – размером в два автоматчика, которым он велел глаз с меня не спускать. Представляете, я еду не с бургомистром встречаться, а с его переводчицей, а тут – две стереотрубы.

– Ребята, – говорю им по-дружески, – вы меня не очень-то пасите. Фрицев там нет – одни немцы.

– Разберемся!

Не знаю, как бы они там разобрались, да несчастье помогло. В то время брошенных машин в Германии было, как говорится, выше крыши, и гоняли на них по всем аккуратненьким немецким дорогам, кто только мог. Без всяких прав, знаний или хотя бы тракторного опыта.

Победителей не судят.

Мы еще отделались легким – сравнительно с жертвами этих безумных гонок – испугом. Водитель на отважной скорости в поворот не вписался, «виллис», пробив дорожное ограждение, загремел под откос, шофер поломал ребра, один из автоматчиков – ногу, ну, а я треснулся головой. Обо что именно, не спрашивайте, не помню. Помню, что очнулся в госпитале. В том самом, в котором Батя надеялся укрепить мое здоровье.

На другой день появился герр бургомистр со своей переводчицей. Он принес букет нераспустившейся сирени и картофельные пирожки, но Соня выглядела не очень-то весело, и я насторожился.

Бургомистр говорил всякие приятные слова, поскольку не просто хорошо лично ко мне относился, но и дни фашистской Германии были сочтены. А тут вдруг во дворе нашего госпиталя начались крики, а потом, естественно, и пальба. Я не успел понять, в чем дело, как в палату влетел мой сосед. Ходячий, всегда буйно-радостный и, как мне казалось, малость с приветом. Влетел и заорал:

– Наши Берлин взяли! Логово!

И полез чего-то искать. И, естественно, нашел.

«Вальтер» из-под подушки вытащил.

– Стой, друг! – крикнул я. – Захвати фройляйн пострелять из моего «парабеллума» за мою радость!..

– Так с нашим удовольствием, – говорит. – Битте, фройляйн, ком хир.

Я достал из кармана халата ээсовский «парабеллум», протянул Софье. Она цапнула его за ствол и тут же вышла вслед за моим соседом. А я поднатужился, мобилизовал кое-как слова немецкие, что во мне застряли, и – бургомистру:

– Варум Соня? – Дальше слов у меня не нашлось, и я показал, что, мол, грустная она очень.

Он что-то застрекотал в ответ, и неизвестно, как бы наш разговор сложился, если бы сосед через койку не спросил, что, дескать, тебе от герра бургомистра надо?

– А надо мне знать, что с Соней случилось, – говорю. – Почему грустная в день взятия Берлина?

– Ради личного любопытства спрашиваешь?

– Для дела, – говорю.

– Ради своего дела, – усмехнулся он и свободно заговорил на том языке, из которого я сумел вызубрить только «Хенде хох!» да «Ваффен хин леген!».

Впрочем, толковали бургомистр с моим соседом недолго. Потом сосед перевел:

– Родителей ее детей в Кельне бомбой накрыло.

– Каких родителей?.. Что ты мелешь?

– Что, что... Понял я так.

Тут Соня вернулась, всю обойму расстреляв. Румяная, глаза горят. Бургомистр что-то

застрекотал, и она, блеска в глазищах не погасив, сразу приступила к своим обязанностям:

– Магистрат принял решение присвоить вам статус почетного гражданина города, господин обер-лейтенант.

Я поблагодарил бургомистра, улыбнулся ему и тут же негромко спросил Соню, верно ли, что ее подопечные дети осиротели от американской бомбы. Она сдвинула брови и строго указала, что это – ее проблемы.

На этом мы тогда и расстались, и я почему-то очень обиделся. Больше они меня не навещали, и я вскорости сбежал из госпиталя в полк, где и заявил Бате, что болеть в том городишке больше не желаю.

– Бывает, – сказал командир полка.

На этом разговор и кончился. Наша дивизия осталась в Германии, наш полк перебросили к Берлину, и Софья Георгиевна исчезла из моей жизни.

А на оккупированной территории бывшей фашистской Германии для советских солдат расцвел рай на земле. Суший, реальный, хоть на язык его пробуй, хоть руками ощупывай. И молодые немочки, стосковавшиеся по мужской ласке, чутко отзывались на ухаживания победителей.

А уж брошенных машин, квартир и даже особнячков было предостаточно. Я, к примеру, занимал весь второй этаж такого особняка, в котором размещался отдел комендатуры по приему немецких граждан. И я этим отделом руководил, потому что сам напросился. Я считал, что мы здесь застряли, а потому решил изучать немецкий язык. И Батя, недолго думая, назначил меня начальником отдела приема. Для практики в немецком языке. И практики было столько, что я напрочь забыл о встрече с французской подданной и ее немецкими детьми.

## 5

Тем более после одного внезапного знакомства. Как-то в приемной моего отдела я, спускаясь в свой кабинет, обнаружил молодую даму. Обратил я на нее внимание, скорее всего, оттого, что она была одинока, поскольку ни красивой, ни даже привлекательной назвать ее было сложно. Этакая высокая дылда с острыми длинными коленками, одетая подчеркнуто строго, аккуратно и незаметно. Может быть, следовало бы отказать, допустим, неброско, но вежливо, однако мне в голову запала именно ее незаметность. Она встала при моем появлении, я поклонился, указал ей на кресло и спросил:

– Вы ко мне, фройляйн?

– Да, господин майор. Я должна передать большую просьбу моего дедушки. Он инвалид Первой мировой и поэтому не может прийти лично.

– Какова же просьба вашего дедушки?

– Он желает лично вам передать оружие, которое у него имеется. Вы отдали соответствующее распоряжение, почему он и просит вас навестить наш дом.

– Я пошлю с вами доверенное лицо, и ваш дедушка вручит ему оружие под расписку.

– Это невозможно, господин майор.

– Почему?

– Это оружие имеет огромную историческую ценность для всего германского народа.

– Все исторические ценности подлежат официальной сдаче Советскому Союзу. Таков приказ.

– Советский Союз разгромил германский фашизм, но Германия, ее народ будут жить и без фашистов. А жить без истории народ не может, господин майор.

– Да, но это – оружие.

– Это уже не оружие, господин майор, – улыбнулась дама. – Это два старинных пистолета, которыми Фридрих Великий наградил нашего предка. Они заряжаются с дула, их ценность для германского народа очень велика, поэтому дедушка, награжденный Рыцарским крестом за Первую мировую войну, и просит вас навестить его в любое удобное для вас время.

Почему-то мне было очень трудно ей отказать, и трудность эта росла от ее

интеллигентной незаметности. И я, солидно полистав какие-то бумажки на столе, сказал, что завтра в одиннадцать готов навестить ее деда.

А он – «фон» с чем-то. Да еще награжден Рыцарским крестом. И я об этом «фоне» с крестом все время думал. Как с ним разговаривать, как объяснить нашу политику, как быть с дарственными пистолетами... В общем, вертелся, пока меня ординарец в семь утра не поднял.

До одиннадцати время еще было, чтобы заняться своими непосредственными обязанностями. Да только все кувырком пошло. Только бумаги на столе разложил – это часов девять было – адъютант в дверях.

– К вам какая-то девица рвется. На русском языке.

– На русском? Может, перемещенное лицо?

– Мне не говорит. Говорит, давай начальника.

– Ну, давай ее.

Исчез. И от силы через полминуты врывается Софья Георгиевна. Взволнована беспредельно, пунцовая, как роза, и взведенная, как автомат.

– Меня выселяют во Францию. Немедленно примите все меры. Немедленно!.. Или, или...

– Что – «или»? Вы возвращаетесь на родину, которой хвастались, поскольку там нет Колымы.

Она покорно покачала головой, закрыла лицо ладонями. Потом вдруг одновременно оторвала их от внезапно побледневших щек, перегнулась через стол, почти в упор заглянув в мои глаза.

– А дети?

– Какие дети, Соня? Немецкие, что ли?

– В полосочку! – крикнула она. – Их что, прикажете, в детский приют сдать? В лагеря уничтожения? В живые куклы женам партийных боссов?

– Почему?.. – Я искренне опешил от такого, не очень, правда, ясного напора. – Поедут в Западную Германию...

– К кому?.. Вспомнили, господин майор? Я у них – единственный родной человек. Единственный! Я их усыновлю. То есть, как это по-русски? Удочерю.

– Ну и прекрасно...

– Что – прекрасно? Кто же их со мною во Францию выпустит? Другая страна, другие законы.

– Так... – начал было я, но она перебила:

– Так думайте, господин майор. Думайте!.. Я думала, вы – воин, а вы!

Махнула рукой и вышла.

А я скис. А мне – к «фону» ехать. Награда Фридриха, нестреляющие пистолеты...

Аристократически-блеклая дама прибыла секунда в секунду. К этому времени я кое-как закончил текущие дела, но радости особой не испытывал. Испортила мне настроение эта Софья Георгиевна с немецкими дочками.

И вообще, как мне к этому «фон-барону» обращаться? Гражданин барон? Он, поди, в фамильном замке живет, слуг – орава, дворецкие, горничные, прислуга...

А приехали на окраину городишка, в аккуратный немецкий домик в полтора этажа с мезонином. Как полагается, ухоженный цветничок перед ним, герань в окнах или еще что-то вроде этого. И никаких тебе каменных стен с угрюмыми башнями.

– Дедушка просит извинить его. Он почти не ходит и никак не сможет встретить господина майора у входа. Если позволите, я проведу вас к нему в кабинет.

Провела. Дедушка сидел в кресле на колесиках. Он был в гражданском сюртуке, кражист, в меру усат и вполне сносно говорил по-русски.

– Весьма рад видеть вас, господин майор, в моем доме. Маргарет, свари нам кофе. Извините, господин майор, это – эрзац, как сама наша жизнь.

– Обождите, фройляйн Маргарет. Позовите моего адъютанта сначала.

Вошел адъютант, отдал честь дедушке, поставил на столик пакет, который я захватил с

собой, учитывая Рыцарский крест хозяина, и вышел. А я снова кликнул фройляйн Маргарет и протянул этот сверток ей.

– Здесь настоящий кофе. Сварите его. И... там еще кое-что. Пригодится.

Это был подарочный набор американской армии почетным участникам войны. В него входил настоящий кофе, американская колбаса в банках, бутылка французского коньяка, горьковатый пористый шоколад, что-то... Уж не упомяну.

Как же ветеран Первой мировой обрадовался настоящему кофе! Как ребенок, ей-богу. Дочь его была куда более сдержанна, но даже она не сумела сдержать радости. И я радовался вместе с ними, особенно после трех рюмок коньяка. Полковник что-то говорил, а Маргарет почему-то стала даже почти хорошенькой...

– Вы спрашиваете меня, господин майор, глубоко ли проникла идея фашизма в германский народ? – продолжал хозяин. – Гегель утверждал, что каждый народ развивается самостоятельно, по идее, заложенной в него с той же естественностью, как в любое живое существо заложено стремление выжить самому и продолжать эту жизнь в потомстве. В этом причина стабильности монархий, в которых власть наследственна. Отсюда – два вывода. Первый – монарх есть вождь естественный, низложение его является бунтом с самыми непредсказуемыми последствиями. Второй вывод. Наследственность монархической власти есть гарантия стабильности жизни данного народа, поскольку отец-монарх всегда стремится передать наследнику престола свое хозяйство в наилучшем виде. Стабильность жизни народа кончается тогда, когда в результате революции, переворота или убийства всех наследников приходит временщик. И тогда – заметьте, господин майор, только тогда! – возникает нужда в идее. Она может быть выражена в национализме, как то случилось у нас, или в классовом абсолюте, как то случилось у вас.

– У нас? – растерянно и тупо переспросил я.

– У вас, господин майор, не удивляйтесь. Мы – зеркальное отражение вашего общества, почему германская пропаганда разоблачала ваши лагеря, а ваша – наши. И никто не смел и пискнуть при этом, потому что как у нас, так и у вас пропаганда находилась в руках, захвативших власть.

– Ну, разве можно сравнивать, господин полковник!.. – возмутился я. – Одно дело...

– Вы абсолютно правы, господин майор. Дело, конечно же, одно, только названия разные.

– Я служу своему делу, господин полковник, и ничто не разуверит меня, никакие гегели, – тут я, кажется, встал и перешел на тон официальный. – Я выдам вам охранную грамоту как инвалиду и герою Первой мировой войны. Только, пожалуйста, спрячьте куда-нибудь пистолеты прадеда. Я не могу поручиться, что на них не позарится кто-либо из наших солдат, которые вольно бродят сейчас по всей Германии.

Отдал ему честь и вышел.

Пару дней я спокойно занимался своими делами. А вот на третий день все полетело кувырком. Все решительно. Ко мне утром ворвался адъютант:

– Не могу больше, товарищ майор! Несколько раз я ее спраживал, то говорил, что вас нет, то – что у вас совещание...

И тут вошла Софья Георгиевна. Пунцовая, прямая, как древко полкового знамени, глаза горят. Я кивнул адъютанту. Тот усадил ее на стул и вышел чуть ли не на цыпочках.

– Я люблю их, люблю!.. – По-моему, она даже дважды ударила себя кулачком в грудь. – Люблю, а вы, чурбан в погонах, никак этого понять не можете!

– Стоп, Соня, стоп, – сказал я и налил ей воды из графина. – По порядку, если можно. Итак, кого вы любите?

– Кого? – Она отхлебнула воды из стакана. – Своих девочек. Люблю. Я поняла это. Твердо.

– Каких ваших девочек?

В послевоенной суматохе и из-за собственной, весьма хлопотливой, работы я, честно признаюсь, забыл о всяких девочках.

– Их намереваются выслать в Западную Германию, но ведь они – сироты, куда они попадут там? В детский приют? А мне не дают их удочерить, потому что я – французская гражданка. И я их прячу по знакомым.

– Ну а чем же я, майор Красной Армии, могу вам помочь, Софья Георгиевна? И как?

– Вы должны жениться на мне, – категорически объявила она. – Жениться как можно скорее, признать детей нашими и уехать в Россию. Там разведемся сразу же, и я с законными детьми вернусь во Францию.

– Я на службе, о чем ты, кажется, не подумала, Соня. Службу эту оставить я не могу, но могу кое-что сделать, чтобы девочек пока не трогали.

– Пока?! – закричала она и, по-моему, даже руки вздернула куда-то ввысь. – Знаменитое русское «пока!». Пока рак свистнет, так, кажется?

Однако известно, что если женщина что-то вбила себе в голову, она этого рано или поздно добьется. Я отбивался, как мог, – не от Сони, разумеется, от ее девочек, к которым, что уж греха таить, тогда относился, мягко говоря, сдержанно. Мало того, что они – немки из Кельна, по-русски – ни бельмеса, так еще и не Сонины. Куда мы их там денем? Одной – восемь, другой – девять. В школу? Ну, в Москве, может быть, и есть немецкие школы, но в военных гарнизонах о них и слыхом не слыхивали.

Не знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы вдруг не востребовали к командующему группы войск. Начистился, прибыл секунда в секунду, доложил, как положено. А он:

– Поздравляю, – говорит, – тебе пришло приглашение в Москву на курсы при Генштабе. Так что срочно сдавай дела, майор Журфиксов, и, как говорится, желаю удачи.

Самое время было затеряться в нетях необъятной родины нашей, но я уже не мог себе позволить такого постыдного бегства. Послал машину с адъютантом, вызвал Соню.

– Собирайся, – сказал я вместо «здравствуйте». – У меня три дня на регистрацию брака, удочерение девочек и отъезд. Как, по-твоему, в Москве есть немецкие школы?

А она заплакала. Навзрыд. Вот с этого ее рыдания и началась наша совместная жизнь.

## **В России**

### **1**

И поехали мы с двумя дочками в Москву, на курсы при Генштабе.

Дали нам однокомнатную квартиру при общежитии, я готовился к вступительным экзаменам. Соня преподавала немецкий, девочки учились в той же школе, старались и получали хорошие отметки. И очень быстро среди сверстниц да сверстников освоили русский язык. Правда, с акцентом, особенно у старшей, Эльзы. Младшая, Мария, болтала почти без акцента.

Но тут начались экзамены, я занимался по шестнадцать часов, но еле-еле что-то сдавал. Оно и понятно, я имел в своем запасе всего-то девять неполных классов сельской школы, почему здесь тащился на сплошных «тройках» да весьма нечасто – на «четверках», которые мне добрые преподаватели, скорее всего, за мою Золотую Звезду ставили.

Но «двойки» ни одной не получил, почему и добрел кое-как до приемной комиссии. Там была в основном знакомая мне по занятиям профессура, но, увы, не только...

Еще какой-то угрюмый подполковник сидел. Судя по форме – оттуда. Из «конторы», как у нас говорили. И вдруг этот «конторщик» спрашивает:

– В аттестате у вас – «тройки» да редко – «четверки», а по немецкому языку – «пять» с восторгом. Не объясните ли такую странность?

– Был комендантом немецкого города. У меня – богатая практика.

– И поэтому разговаривали с германским бароном без переводчика, – уточнил он.

Я промолчал. «Контора» знала абсолютно все. У них, поди, все адъютанты завербованы.

– Может быть, это безукоризненное знание немецкого языка объясняется тем, что ваша супруга Софья Георгиевна – перемещенное лицо?



– Моя супруга не перемещенное лицо, а гражданка Советского Союза. И дети – тоже.

– Всё!.. – рывкнул он.

И – всё. И никаких больше вопросов. И назначение помощником начальника штаба в далекую резервную дивизию, правда, уже в звании подполковника. Однако служба есть служба. Упаковались, поехали.

Ехали долго, дивизия дислоцировалась где-то на границе Якутии с Бурятией, поскольку являлась резервной как для действовавшего западного направления, так и для восточного, то есть войны с Японией, однако не попала ни на войну с Германией, ни на войну с Японией. И в первый же вечер по прибытии, на балу, понял, почему меня сюда послали. Или – «сослали», как очень точно определила Соня.

Я предполагал это, однако был обязан представиться командованию по всей форме. А у меня на форме – полкило орденов с медалями, не считая Золотой Звезды, которую по положению я обязан носить всегда. А у них, скромных запасников, – медали за чужие победы да у комдива, его начальника штаба и у заместителя – почетные медали «XX лет РККА».

Представился, как того требует устав. Пригласили присаживаться, потолковали, где учился, у кого воевал, хорошо ли устроили...

Устроили нас в общежитии в однокомнатной, но, правда, большой квартире. Там можно было перегородку поставить, чтобы у девочек свой закуток был. Но – поблагодарил.

А комдив и говорит:

– Сегодня вечером у нас в дивизии смотр самодеятельности с танцами. Прошу прибыть в парадной форме и с супругой, чтобы познакомиться с офицерским составом и их женами.

Ох, от чего порою судьба зависит! Приехали бы мы в другой день...

Все, конечно, правильно, комдива я не виню. Только с этого знакомства на дивизионном смотре художественной самодеятельности с танцами и начались все наши неприятности.

Дело в том, что моя Соня отлично умела шить, обладала женским чутьем на моду и аксессуары, разбиралась в них, поскольку выросла в Париже. А местные дамы пользовались либо тем, что можно было достать в магазинах (а там ничего достать было невозможно, кроме водки), либо что-то шили сами, руководствуясь выкройками десятилетней давности, либо надевали то, что втридорога покупалось из-под полы у тех счастливиц, которые побывали в Европе.

А тут еще я не к месту испросил разрешения у комдива на опоздание, сославшись на то, что нужно как-то устроить девочек спать. И мы с Сонечкой прибыли в полном параде как раз тогда, когда кончился концерт, и оживленные, в предвкушении танцев, дамы весело растаскивали стулья, освобождая танцевальное пространство. Нас сопровождал выделенный комдивом его адъютант, чтобы представить, как полагается. И он представил:

– Позвольте представить прибывшего на должность помощника начальника штаба Героя Советского Союза подполковника Журфикова и его супругу Софью Георгиевну!

И дамы онемели со стульями в руках, увидев Соню в вечернем платье и меня при всех орденах.

Хуже нет дамской зависти. Записные красавицы становятся мелкими хищницами, приятные во всех отношениях дамы старательно скрывают неприязнь, а первая леди дивизии, то бишь жена комдива, превращается вдруг в этакую располневшую сельскую бабищу весьма преклонного возраста. И всем это неприятно решительно во всех отношениях.

И тут молоденький лейтенантик, завклубом, что ли, громко объявляет:

– Просим дорогих гостей подполковника Журфикова с супругой открыть наш скромный бал!

Уж что-что, а танцевать Соня умела, как редко кто умеет. И меня, естественно, выучила. Я подошел к ней, поклонился и пригласил на вальс.

Мы танцевали так, как танцуют вальс в Европе. С широкими кругами, пируэтами, поклонами и полупоклонами. Словом, так, как здесь заведомо его никто не танцевал. Аплодисменты были весьма скудными, что, впрочем, не помешало завклубом попросить нас исполнить танго.

И тут он совершил огромную ошибку, вызвав всеобщее неприятие в адрес вновь прибывшей семьи. Командиры невзлюбили меня за то, что был увешан орденами, как рождественская елка. Командирские жены возненавидели Соню прежде всего за платье по последней моде, а после того, как мы с нею исполнили танго в строго испанском стиле, о котором здесь и не подозревали, они возненавидели заодно и наших девочек. В школе узнали, что они – немки, уж и не знаю, кого винить, кроме «конторы», поскольку мы их удочерили и они считались русскими. Да, акцент, но это списывалось на Прибалтику чохом, а месяца через два, что ли, их вдруг стали дразнить «фашистками, немчурой», как-то еще. Детская жестокость безгрешна, но весьма болезненна, и мы были вынуждены девочек из школы забрать. Соня сама с ними занималась, но вокруг пополз шепоток, что-де эти зарвавшиеся герои пренебрегают советской школой. К нам зачастили представители школьной общественности, обвинили нас в том, что мы нарушаем закон о всеобщем школьном образовании. Мы пытались объяснить причины этого, но нас никто не слушал, а когда Соня предложила им тут же проэкзаменовать девочек, они гордо отказались.

Словом, жизнь наша буквально с каждым днем становилась все невыносимее и невыносимее.

## 2

Однако все это обернулось против нас не в один день, не сразу. Они довольно долго приглядывались, пытаясь то ли понять нас, то ли выяснить наиболее незащищенные места нашего семейного братства.

Мы тоже к ним приглядывались, чего уж греха таить. Я все время пытался осмыслить, откуда это неприятие в резервной как для Запада, так и для Востока заштатной стрелковой дивизии. Ведь я, к примеру, должен был бы их интересовать как офицер, прошедший войну и служивший в побежденной Германии.

Мне хотелось рассказать неволевавшим офицерам про знаменитые немецкие танковые клинья, резавшие нашу оборону на куски, смело оставляя окруженных в своем тылу. Я рисовал схемы наиболее убедительных сражений, которые восстанавливал по памяти, готовясь в Академию Генерального штаба, чтобы наглядно доказать преимущество немецкой тактики, особенно в начале Великой Отечественной. Объяснить им, что немецкий солдат оказался солдатом современным, тогда как наш так и остался бойцом Гражданской войны. Не для простого ознакомления с вчерашней военной историей, а ради выводов, как нам перестроить армию, сделав ее современной, гибкой, легко управляемой и непобедимой.

С этими идеями я сунулся к своему непосредственному начальнику, но он воспринял их весьма скептически:

– С этим тебе пока придется погодить. Сначала следует хорошенько познакомиться с личным составом. Тебе и твоей супруге – в особенности.

– Это можно сделать параллельно.

– Параллельно не получится, – мой начальник вздохнул. – Ты сперва вместе с женой у них в гостях побывай.

– Без приглашения?

– Сделаем приглашение.

Он помолчал, подумал, стоит ли говорить. Опять вздохнул, покрутил бритой наголо головой.

– Пьют наши офицеры вмертвую, понял? Все пьют, от верхов до низов. Стаканами глушат.

– Пьют?..

– Именно что. Сперва клуб работал, так хоть фильмы каждый день крутили. А потом кто-то – кто именно, так и не дознались, – всю аппаратуру, на которой кино крутят, украл и пропил. Вот какой компот с фрикадельками получается. Тут пьянка и закрутилась. Дни рождений, именины, праздники, все выходные и просто так, без особых причин. Как

говорится, соображают. Ты сперва оглядись, посмотри, сержантов расспроси. Не офицеров, а именно сержантов-старослужащих. Они у нас – опора дивизии, можно сказать. А потом и в гости ходим.

Я походил, поговорил со старослужащими-сержантами, сам огляделся.

Офицеры пили в семьях, компаниях, на рыбалке и «на троих», все передоверив сержантскому составу и не только не ночуя в казармах, как того требовал устав, но и не появляясь в них неделями. Расцвела «дедовщина», которой не знала ни русская, ни Красная армия. Плац зарос бурьяном, спортгородок был кем-то сожжен, дорожки в офицерском поселке заросли травой, а офицерские жены совсем осатанели от беспробудного пьянства мужей и детского беспризора.

– Несчастные жены и несчастные дети, – с горечью вздохнула Соня.

– Несчастливая дивизия, – ответил я. – Приведем ее в порядок, и дети с женами счастливыми будут.

Начальник оказался прав: нас вскоре пригласили в гости к командиру одного из полков. Мы уже поняли, чем дразним гусей, а потому я надел повседневный китель с орденскими планками и Золотой Звездой, которую по положению был обязан носить всегда. А Соня, перетряса весь свой гардероб, отыскала самый, с ее точки зрения, неказистый костюмчик, который, по здешним меркам, не мог тем не менее не вызвать лютой женской зависти. Мы захватили с собой последнюю бутылку настоящего французского шампанского и прибыли к назначенному времени.

Все гости вместе с хозяевами сидели за столом и встретили нас радостными воплями:

– Штрафную!.. Штрафную!..

Мне тут же сунули граненый стакан водки, а Соне – добрый фужер какого-то темно-красного вина. Судя по тому, как она осторожно мочила в нем губы весь вечер, это был стандартный портвейн советского разлива.

Пока длилась эта радостная «штрафная» процедура, я успел определить, что перед каждым офицером стоял граненый стакан, а перед каждой дамой – полновесный фужер вместо рюмки. Стаканы, естественно, тут же наполнялись водкой, а дамские фужеры – упомянутым портвейном.

– За здоровье дам! – провозгласил я. – Предлагаю опорожнить бокалы, которые я наполню тем напитком, с которым их поднимают во здравие женщин во всем мире!

Открыл бутылку, разлил женщинам шампанское. Мужчинам некуда было наливать: едва опрокинув стакан, они тут же наполняли его водкой. Поднял свой граненый сосуд, в который плеснул-таки шампанского.

– За прекрасных дам!

Выпили прекрасные дамы. Кто-то только хлебнул и поморщился, кто-то сплюнул, а худощавая, со злинкой, жена командира артполка громко сказала:

– Ну и гадость!

– Химия, – уверенно сказал кто-то из старших офицеров. – Заграница в этом мастерица.

– Я у сватьяшки была, сладку водочку пила!.. – тотчас подхватила обширная во всех измерениях полковая дама.

– У них даже хлеб искусственный, – уточнил мрачный смершевец. – Заграница живет исключительно на синтетических товарах.

– И этот, как вы говорите, искусственный хлеб мы покупаем? – откликнулась не вытерпевшая заведомой игры Соня.

– Кто вам сказал? – тотчас же строго спросил чекист. – Нет, вы доложите, кто вам сказал?

– Во-первых, я – не военнослужащая и докладывать кому бы то ни было ничего не обязана. А во-вторых, вы запомнили, что мы с мужем достаточно долго жили за границей. Я, например, вообще всю свою жизнь, поскольку родилась в Париже. Европа закупает у нас только твердую саратовскую пшеницу, а поставляет нам кормовую. Если случится кому-либо из вас побывать за границей, попробуйте французский батон, который не черствеет три дня, или немецкие булочки.

– Это уж из другого лагеря голос! – громко сказал кто-то за столом. – Из вражеского лагеря!

– Можно подумать, что разговор идет не о хлебе насущном, а об атомном оружии, – усмехнулась Соня. – У меня перед вами существенное преимущество. Я говорю то, что хорошо знаю, а вы отвечаете тем, чего наслушались по радио или прочитали в газете «Правда».

Соню несло. И неизвестно, до чего бы еще донесло, если бы офицеры за столом дружно и в такт не застучали днищами своих стаканов.

– Третий стакан! Третий стакан! Третий стакан!..

Они выкрикивали эту бессмыслицу хором, но все их поняли. Сразу же появился баян, сразу же кто-то из офицеров его натянул на плечо и крикнул:

– Ну, бабы!.. Что успели сочинить? Давайте ваш полный репертуар!..

И вдруг женщины и офицеры сорвались с мест за столом. И началась дикая пляска вприсядку, с чечеткой и выкриками, а женщины, размахивая платочками, топтались вокруг пляшущих, выкрикивая частушки, чаще всего свойства весьма двусмысленного. Соня опустила глаза и изо всех сил старалась хотя бы не покраснеть.

– Тебе трудно, Соня?

Она вымученно улыбнулась:

– Это бы я все стерпела. Только одна мысль сверлит меня, как червяк.

– Что же тебя тревожит?

– Знаешь, это не победители. Это – победоносцы. Всего-навсего. Победу надо закреплять нормальным мирным трудом в разоренной стране. Иначе она окажется Пирровой победой, и вчерашние побежденные вскоре начнут диктовать свою волю вчерашним победителям. Может быть, победы вообще ничему не учат? Может быть, учат только поражения?

Да, учат только поражения, тут Соня была абсолютно права. Победы – парадное пособие, а не учебное. А поражения приходится изучать, чтобы они хотя бы не повторились.

### 3

На другой день меня вызвал к себе замполит дивизии и напрямик сказал, чтобы я приструнил свою жену, пока командование не сделало каких-то там выводов. Я решительно отказался, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы...

Правительство и партия вдруг объявили о беспощадной борьбе с космополитизмом, и вся деятельность в войсках свернулась к бесконечным собраниям да заседаниям. Офицеры были, в основе, из деревень, призваны либо на трехмесячные курсы младших лейтенантов, либо на четырехмесячные, которые выпускали лейтенантов. А какое в деревнях школьное образование? Сам из деревни, знаю. И для них само слово «космополит» звучало не столько непонятно, сколько настороженно-пугающе.

Потом-то я разобрался, откуда они появились, эти самые космополиты. Советский солдат пол-Европы прошел, своими глазами увидел, как живет она, как одета, сколько там машин и всяких удобств. Надо было во что бы то ни стало сбить с них эту опасную дурь о европейских благах. Проветрить мозги, заставить думать не об удобствах, а о врагах. А поскольку фашизм был разгромлен, то запустили врага бестелесного, но невероятно коварного, злобного и опасного.

И тут заходит ко мне комиссар дивизии. Я по фронтовому опыту знал, что это за публика, а потому никогда ни с ним, ни с его командой не то что не якшался, а попросту избегал их. Мне мечталось дивизию довести до боевого состояния, а в таких вопросах я ни в чьих советах не нуждался. Они – сами по себе, я – сам по себе. А тут вдруг пожаловал и – чуть ли не с порога:

– Партийное бюро дивизии поручает вам, товарищ подполковник, сделать доклад о космополитизме.

Мне бы, простаку, сообразить, какая мина заложена под ногою, но я об этом и думать не хотел. Искренне хотелось объяснить боевым, но, увы, полуграмотным офицерам, что космополитизм есть всего-навсего выражение идеи единого мирового пространства. Сторонниками этого мирового союза всех живущих на земле граждан были виднейшие деятели мировой науки и культуры. Философы Кант, Лессинг, Фихте; гениальные поэты Гете и Шиллер. Доходчиво рассказав офицерам об этом, в конце добавил:

– Космополит – человек мира, он везде ощущает себя как гражданин, не забывая при этом о родине своей. Тургенев любил Францию, много там жил и работал, но разве это не величайший русский писатель? Гоголь в Италии заканчивал «Мертвые души», Пушкин мечтал, чтобы его выпустили за границы Российской империи, в которой, по его словам, он задыхался. И все они – да и не только они – носили Россию с собою в сердце. Ностальгия – чисто русская национальная болезнь.

Я знал, что началась очередная кампания охоты, направленная на вызов противостояния в советском обществе. Но я никогда не лгал своим офицерам и тем более не собирался лгать в предлагаемых обстоятельствах.

Как ни странно, тогда это выступление сошло мне с рук. Полагаю, потому, что кампания только-только набирала обороты, и никто еще не решался лезть поперек батьки в пекло.

Но вскоре колесо этой безадресной посылки провернулось другим боком, прицепив уточняющее прилагательное: «Безродные».

А чтобы не подумали на, допустим, цыган или еще на кого-нибудь, все газеты, как гончие псы, которым наконец-то «Ату его!..» крикнули, начали из номера в номер печатать статьи и фельетоны, героем которых непременно становился обладатель еврейской фамилии.

Тошно мне было от этого фарисейства. Коммунистическая партия Советского Союза, учитывая полное безразличие основной массы населения к истории собственного народа, плевала в гроб основателя коммунизма Карла Маркса. Провозглашенный им и Энгельсом интернационализм заменялся обывательским ура-патриотизмом.

– Не понимаю, о чем думают в советских верхах, – вздохнула Соня.

И я не понимал. И, не согласовывая с партийным комитетом, собрал офицеров дивизии и прочел им лекцию о научном и творческом наследии изгнанных из Палестины евреев. Я не касался, естественно, христианства, потому что советская власть воевала с религией куда яростнее и непримиримее татаро-монгол, но говорил не столько о Марксе и Эйнштейне, сколько о командире роты Рубинчике в моем батальоне, посмертно получившем звание Героя Советского Союза. О медсестре Ирочке Шмулевич, своим телом прикрывшей меня во время операции и получившей в спину причитавшиеся мне осколки. Предлагал им вспомнить знакомых рядовых и офицеров, связистов и разведчиков, артиллеристов и танкистов. И они вспоминали, только вывод их оказался для меня неожиданным:

– Наши евреи не такие, о которых в газетах пишут.

Странно, но и эта самодеятельность сошла мне с рук. Однако ненадолго.

Вскоре газеты сообщили о существовании разветвленной всемирной еврейской организации «Джойнт», поставившей своей целью добиться мирового господства. Ею завербованы не только евреи всего мира, но и космополиты разных национальностей, привлеченные мощными еврейскими капиталами. Но отважная советская патриотка, сотрудница Кремлевской больницы Лидия Тимашук сообщила в МГБ, что умерший секретарь ЦК Жданов якобы стал жертвой неправильного лечения.

Привожу сообщение полностью.

«Сообщение ТАСС от 12 января 1953 года.

Некоторое время тому назад органами Госбезопасности была раскрыта группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сокращать жизнь активным деятелям Советского Союза. Большинство участников террористической группы (Вовси, Коган, Фельдман, Гринштейн, Этингер и другие) были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт»... Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директивы об истреблении руководящих кадров СССР через врача

Шимелиовича и известного буржуазного националиста Михоэлса».

И далее – разъяснение газеты:

«Убийцы в белых халатах

В августе 1948 года сотрудница Кремлевской больницы Лидия Тимашук сообщила в МГБ, что умерший секретарь ЦК Жданов якобы стал жертвой неправильного лечения. В ноябре были арестованы десятки медиков-евреев, в том числе лечащий врач товарища Сталина Виноградов».

Из опубликованного в печати письма группы Московских врачей в ЦК КПСС от 16 июля 1952 г.

«До самого 1949 года эти розенфельды и буткевичи командовали в медицине. Эта истина общеизвестна. Общеизвестно то, что эти розенфельды и буткевичи в медицине совершали злодеяния... Они убили Горького и его сына, убили Куйбышева, Жданова и Щербакова... Они же, эти враги и им подобные, применяли и такой гнусный метод: к влиятельным лицам подставляли в жены типов своей категории».

– Безграмотное, бездоказательное и очень странное как письмо, так и сообщение ТАСС, – сказала мне Соня. – Врачи – единственная профессия, где приносят клятву Гиппократу «Не навреди». И потом, обрати внимание, эта Лидия Тимашук названа почему-то сотрудницей Кремлевской больницы. Но в больницах нет сотрудников, в больницах всегда было и есть четкое разграничение профессий. Врачи, медсестры, санитарки. А сотрудники – из другого ведомства. Из ведомства государственной безопасности.

#### 4

Однако замполиты дивизии, а с ними и большинство офицеров, думали привычно. То есть так, как напечатано в газете «Правда». И на четвертый, что ли, день был собран партком дивизии. Вторым секретарем был заместитель командира одного из полков, некий Старкин. Образование у него, судя по анкете, было среднее, но какое именно среднее, нигде не указывалось. С моей точки зрения, он не отвечал требованиям занимаемой должности, но из кожи вон лез, чтобы доказать свою принципиальность. Работоспособность его была беспредельна, он соглашался на все что угодно, лишь бы хоть как-то удержаться.

– Товарищи коммунисты, вы все, я убежден, читали сообщение ТАСС о врачах – убийцах наших дорогих вождей. Все советские люди должны гневно откликнуться на это сообщение, и наша дивизия, как и весь советский народ...

– Подождите, Старкин, – не очень тактично перебил я (надоел мне этот токующий глухарь). – В какой газете опубликовано сообщение прокуратуры или хотя бы известие, что возбуждено следствие по заявлению гражданки Тимашук?

Признаюсь, этот вопрос мне задала Соня, заодно объяснив, что такое презумпция невиновности. Поэтому-то я сразу же и перебил токующего Старкина.

– Нет... – Старкин несколько опешил, как мне показалось. – Но в сообщении ТАСС ясно обозначено...

– Сообщение ТАСС – документ политический. А для того чтобы гневно откликаться, надо знать, что прокуратура приняла к сведению донос...

Дорого мне обошлось это определение поступка патриотки Лидии Тимашук, очень дорого.

– Так оценивает сообщение ТАСС товарищ Журфиксов? – зло прищурился Старкин. – Простые советские люди уже откликнулись на патриотический поступок товарища Лидии Тимашук, а товарищ Журфиксов все еще ждет указаний прокуратуры? Странно. Особенно если я зачитаю строчки из писем простых советских людей.

– Что ты задираешься, подполковник? – шепнул мне мой непосредственный начальник. – Сейчас эта сука...

И замолчал, потому что «эта сука» и впрямь сразу же открыла припасенную папочку.

– Письма простых советских людей! – с пафосом воскликнул майор и с еще большим

пафосом продолжил: – Простая советская пенсионерка пишет, что восторгается отважным подвигом советской патриотки Лидии Тимашук. Пионеры десятого класса тульской средней школы написали стихи: «Позор вам, общества обломки, на дно пойдете, без следа. А славной русской патриотке на веки вечные «ура!»» Комсомольцы города Юрьевца предлагают собрать деньги на памятник Лидии Тимашук. Дважды раненный фронтовик Остапенко Кирьян Денисович просит наше советское правительство наградить советскую патриотку Лидию Тимашук самым главным орденом страны. А колхозники колхоза «Вперед к коммунизму!» предлагают поручить ей высокую должность по бдительности в советском правительстве. И таких писем – сотни! Газета «Правда» открыла раздел «Письма к Лидии Тимашук...».

– Вполне достаточно, – сказал замполит дивизии. – Пора переходить к обсуждению.

– К дебатам, – поправил комдив.

– К дебатам, – тотчас же согласился комиссар.

Дебаты были короткими, а вывод партсобраний – длинным, как жизнь:

«Первое. За полное непонимание и неприятие политики партии и правительства общее партийное собрание дивизии требует исключить коммуниста Журфиксова Павла Петровича из рядов Коммунистической партии Советского Союза.

Второе. Просим обратить самое серьезное внимание компетентных органов на супругу означенного Журфиксова Павла Петровича Софью Георгиевну Журфиксову (настоящая фамилия уточняется), еврейку по национальности, родившуюся во Франции, в семье активного врага Советского Союза...»

– Соня – участник французского Сопротивления...

– Это она вам так сказала, – пояснил смершевец и очень нехорошо улыбнулся.

– Отставить пререкания! – громко крикнул замполит. – Продолжай, товарищ Старкин.

«...Третье. Приемные дети означенной Журфиксовой С. Г. Эльза и Мария являются немками по происхождению, а потому, с точки зрения бдительности, коммунисты предлагают поднять вопрос перед вышеуказанными органами либо о немедленной высылке немецких приемных в Германию, либо о немедленном отправлении их в разные детские приюты».

Тут я встал. Просто – встал, не подняв руки и не прося никакого слова. И все молча на меня смотрели.

– Вы – кто? – спросил. – Господа офицеры или товарищи партийные работники? До сей поры полагал, что – офицеры, долг которых укреплять могущество Советской Армии, а не давать партийные советы компетентным органам, кого посадить, кого – выслать. Кроме того, офицеры внутри страны всегда обязаны защищать слабейших, а не просить компетентные органы рассылать их по разным детским домам. Вы – не победители, вы – победоносцы. Мне стыдно служить с вами, стыдно. И я немедленно подам рапорт о переводе меня как можно дальше от вашего пьяного болота.

Некоторое время все молчали. Потом Старкин вскочил, как будто его подбросило:

– Предлагаю первым пунктом решения офицерского собрания записать всеобщее категорическое требование всех офицеров нашей дивизии о немедленном исключении подполковника Журфиксова из рядов нашей Советской Армии!

Я сразу же вышел, не ожидая их решения. Я понимал, каким оно будет, но знал и твердо верил, что без службы в армии мне незачем жить.

Пришел домой. К счастью, никого не было: Соня и девочки куда-то ушли. Я написал объяснительную записку, почему именно так поступил, и письмо Сонечке. А потом достал подаренный мне когда-то Батей «парабеллум»...

## **Авторское примечание**

Я продолжал писать, меня издавали и читали. Я много получал писем от читателей, но одно из них привлекло мое особое внимание.

Вот это письмо.

«...если вы тот юноша, который когда-то преподнес мне букет садовых цветов, то я буду

счастлива. Мы с моим мужем Журфиксовым Павлом Петровичем приходили договариваться об участке, но из этого ничего не вышло.

Мой муж погиб, я живу у его родственников в деревне, но мне необходимо рассказать, как моего мужа довели до самоубийства. Я почему-то верю, что вы стали писателем, но если я ошибаюсь, то пусть вас не затруднит ответ. Я продолжаю дневник моего мужа, который когда-то выслала на ваш адрес.

Ваша Софья Журфиксова».

Таково было приложение к рукописи, которую заканчивала его супруга.

## **Наша жизнь после гибели мужа**

«Дневник моего мужа Героя Советского Союза Павла Петровича Журфиксова продолжаю я, его жена Софья Георгиевна Журфиксова. Мне кажется, что, пока я пишу, он – живёт.

К нам никто не пришел. Никто решительно, чтобы хотя бы выразить соболезнование. Я сама омыла тело мужа, сама надела на него парадный мундир, правда, без орденов. В своем последнем прощальном письме, которое я рассматриваю как завещание, он распорядился оставить все его ордена и Золотую Звезду, чтобы впоследствии передать их мужу одной из девочек. Конечно, он завещал бы свои боевые награды сыну, но сына у нас не было. И быть не могло. Меня так зверски насильовали и били гестаповцы, что рожать я уже не могла.

Мы с девочками сами положили его в гроб. Укладывали с трудом, он все время вываливался, падая в гроб то боком, то как-то косо. Но мы все же устроили его как следует, хоть никто к нам не пришел на помощь. Никто из этой, никогда не воевавшей дивизии не явился, чтобы помочь нам похоронить Героя Советского Союза.

Помогли могильщики и не взяли за это ни копейки. Я оплатила только захоронение, как полагалось по их прейскуранту. И кроме нас, осиротевших, моего мужа провожали директор кладбища и все свободные от работ могильщики.

– Помянуть надо, – сказал директор. – Обычай добрых поминок требует.

– А мы... – Совестно мне стало, кажется, даже покраснела. – Мы уезжаем завтра, муж так завещал.

– Просим к нам. Мы водки купили, вина для вас, закуски кое-какой. Очень просим не отказать поднять вместе с нами поминальную рюмку за светлую память вашего супруга.

Мы помянули Героя Советского Союза, убитого уже после Победы. А на другой день выехали в село, откуда он родом. Он так распорядился перед смертью.

Ехали долго, мучительно ехали – третьим классом с тремя пересадками. Но – добрались.

Село большое, и мы, едва войдя в него, у первого встречного сразу спросили, где нам найти председателя колхоза Журфиксова Семена Алексеевича.

– Он теперь не председатель, – почему-то с улыбкой ответили нам. – Он теперь директор нашего совхоза. В центре села – правление, вот там и узнайте. Может, на месте окажется, может, в поля уехал. Мужик рачительный.

Нашли. Солидный мужчина в костюме и с галстуком. Спросил, по какому вопросу, и я молча протянула ему письмо мужа, написанное перед смертью. Он прочитал, слезы с лица смахнул, сокрушенно покрутил головой и спросил:

– Журфиксова, значит?

– Да. Софья.

И вдруг улыбнулся:

– Здравствуй, Соня.

И я разрыдалась, сразу бросившись в его объятия...

– Ничего, – сказал он, сдерживая слезы. – Пашку убили, так ты с девочками у меня теперь...

Поселил он нас в просторную избу к рано постаревшей женщине, у которой война жестоко отобрала мужа и двух сынов.



– Приюти, Алевтина, семью нашего с тобой родственника, подло убитого Героя Советского Союза Павла Журфиксова. Очень и очень тебя прошу.

Хозяйку нашу звали Алевтиной Степановной. Была она на редкость замкнутой и неразговорчивой и, тоже на редкость в те суровые времена, гостеприимной. Сказала, чтобы я за ухваты и не думала хвататься, ее, мол, это привычное дело, и отвела нам большую комнату.

Я начала работать в средней школе, преподавая сразу два языка: немецкий и французский. Девочки учились там же, завели друзей, азартно участвовали в самодеятельности, не мечтая, однако, когда-либо стать актрисами.

А парадный мундир мужа со всеми орденами и медалями я передала в совхозный Дом культуры, где не только стационарно крутили фильмы, но была и Комната Славы. Там на мраморной доске Вечного почета были высечены имена всех жителей села, погибших на Великой Отечественной войне. Семен Алексеевич распорядился высечь на ней и имя Героя Советского Союза Павла Журфиксова. А подле, в стеклянной витрине, разместил и его парадный мундир со всеми регалиями. Здесь торжественно принимали в пионеры и в комсомол, здесь же допризывники клялись служить так, как служили те, чьи имена золотом отливали на черном мраморе.

Шло время. Я окончила курсы стенографии. Старшая, Лиза, которую когда-то звали Эльзой, с золотой медалью окончила десятый класс, и правление совхоза направило ее в областной мединститут на полное содержание, поскольку готовило будущего детского врача для своей больницы. А младшую, Машеньку, свою любимицу, Семен Алексеевич вызвал к себе:

– Просьбу мою выполнишь?

– Любую, дядя Семен.

– Мне агроном нужен, Машенька. И лучше тебя я агронома для совхоза не вижу. Поступай в Сельхозакадемию на полный совхозный кошт. Там поучишься, здесь практику получишь и со временем станешь моим преемником.

И снова шло время. Совхоз богател, заработная плата была в нем выше, чем во всей округе, в пахоту и в уборочную механизаторы питались бесплатно, а обеды им вывозили в поле.

Да, время шло. Обе мои девочки счастливо вышли замуж, я уже стала бабушкой, но память о моем герое Павле Журфиксове не исчезала во мне. И в конце концов я не выдержала и взяла в детдоме на воспитание четырехлетнего крепыша.

Счастливые времена! Он не просто называл меня мамой – он искренне считал меня своей матерью. И я медленно, но упрямо и неуклонно воспитывала в нем моего Павла Журфиксова. Я внушала ему главное: солдат есть защитник не только Отечества, но и защитник всех слабых. Особенно детей и женщин. С этим убеждением он и поступил в пехотное училище.

Я готовила его для офицерской службы. Сын был очень хорошо физически развит, отлично стрелял, а главное, с детства приходил в синяках, упрямо и смело вступая подчас в неравные схватки, защищая девочек и малышей. И я всегда хвалила его, залечивая полученные им в драках синяки и шишки.

Ныне фамилия моего сына Паши Журфиксова широко известна не только в Чечне. Его знает весь Кавказ, население которого – все население, без разбора! – именуется «лицами кавказской национальности». Наша пресса о нем помалкивает, но всем, воевавшим или продолжающим воевать, надеюсь, ради чеченского народа, имя моего сына знакомо.

И сейчас я его, равно как и моего погибшего мужа, считаю победителем. Многие другие сегодня – всего лишь победоносцы. Всего-навсего.

*Ваша Софья Журфиксова » .*